

АНДРЕЙ ГРУНТОВСКИЙ

СЛОВО О РУБЦОВЕ

...и мир устроен грозно и прекрасно.

Предисловие

...Быть может, всё чудо Рубцова только в том и состоит, что он сумел передать ощущение благодати Божьей, разлитой в природе и человеке. Не придумать это, не вычитать где-то, не имитировать, как иные стихослагатели, а ощутить и выразить. Причём благодати не только вечной (ведь не в раю живём!), а и колеблющейся, здешней, готовой вот-вот отойти от грешной Руси.

“Россия, Русь! Храни себя, храни!..”, “Боюсь, что над нами не будет таинственной силы...” – это ведь у Небесной Руси благодать не пройдет, а у земной... – вот оно, творится...

В глубокой древности искусство (а здесь мы говорим о поэзии) и религия представляли собой единое целое. Благодатная особенность русской поэзии в том, что и по сейчас является она поприщем стяжания Святого Духа.

Никому, пожалуй, в русской поэзии не было дано столь прямое Богообщение – почти физическое ощущение присутствия Святого Духа, “иже везде сый и вся исполняя...” Это неложное Богообщение было свойственно народной устной поэзии, поэзии средневековой письменной, последний раз мелькнуло в державинской оде “Бог”, в лучших вещах Пушкина, Тютчева, Есенина...

В нынешние времена, когда благодать от Руси отходит видимым образом, почувствовать “святой остаток” непросто. Оттого и припадаем мы к поэзии Рубцова, чтобы причаститься той, благодатной ещё Руси. Что ждёт Русь в будущем? И туда заглядывал Рубцов – туда, за обрыв, где: “Как странно повисли и грустно/ Во мгле над обрывом безвестные ивы мои...” И молил, заклинал, всем своим творчеством (жизнью!) призывал Божью благодать на Россию. Быть может, и его призывание зачтётся наряду со святыми молитвами. Как поётся в древнем духовном стихе о Василии Великом:

Ай, Василий Великий, Кесаримский чудотворец!

А твои-то молитвы, яко лютые стрелы ко Господу Богу прилетают...

Рубцов ещё во многом не прочитан. Отнюдь не только десяток-другой постоянно цитируемых стихов делают Рубцова Рубцовым. Почти всё его зрелое творчество носит печать необычайной, не проявленной до конца благодати...

“Последняя сказка” Слово первое

Январь — месяц Рубцова. Третьего января — Приход, девятнадцатого — Уход. Тридцать пять лет жизни и сорок с лишним лет после того, как... Отчего же не оставляет и крепнет всё более любовь наша к Рубцовскому Слову? Отчего чем тяжелее Русской Земле, тем яснее и отчетливее тяга к Рубцову? Какое стечение времён и событий, какой такой перст Божий сделал Николая Михайловича Рубцова Русским Национальным Поэтом?

Что есть поэзия Рубцова? Что такое вообще Русская поэзия? Чтобы приблизиться к Ответам, необходимо оглянуться — и не на миг! — на всю многотысячелетнюю историю Русской Словесности, постичь её образы, уверовать в её идеалы... Мы не дерзаем в кратких заметках проследить этот Путь. Да и готово ли современное литературоведение проделать его? Но Путь этот — если думаем мы о завтрашнем дне русской поэзии — пройти должно.

Давайте сделаем хоть пару шагов, снимем первый слой: взглянем на поэзию Рубцова глазами фольклориста (и для примера одно стихотворение — “Прощальная песня”). Вот они — знаковые образы, за каждым стоит его генетический пласт: определённая фольклорная традиция. Образы, о которых так туманно (как кажется несведущему) писал когда-то Есенин в своих статьях. Образы-символы, связующие Судьбу и Слово Рубцова с традиционной народной культурой. Образы, составляющие суть, истинное содержание поэзии, её сакральный язык.

Образ *ребёнка*, — образ продления рода, воскресения, спасения души (что дано здесь через поэтику колыбельной). Образ спасения расширяется: *колыбель, лодка, ковчег*. Отсюда образ перехода в иной мир: *река, пристань, пароход*... Образ *Сада* (Благодати, догреховного состояния): сад, цветы, дерево, срубленное дерево — пень. Образ *искушения*: грехопадение, запретный плод. Образ *отъезда*, прощания: изгнание из Рая, погибель, смерть, покаяние. Образ *птицы* — связь горнего и дольнего (по народным представлениям, птицы на зиму улетают в рай, уносят туда человеческие души). Образ *матери* как средоточие Рода и Родины (у Рубцова — погибшей матери, то есть подрубленного Рода, погибающей Родины). Вся Россия, со всем её прошлым и будущим, стала матерью для Рубцова. Неразрывно с этим связан и образ *церкви* (у Рубцова — заброшенной, обрушившейся): *церкви-матери, церкви-ковчеха, церкви-сада*. Эти образы имеют своё происхождение в духовном стихе, в протяжной лирической и обрядовой песне, в притче, в духовной легенде... Прислушаемся:

*Я уеду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.*

*Мать придёт и уснёт без улыбки...
И в затерянном сером краю
В эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою.*

.....
*Слышишь, ветер шумит по сараю?
Слышишь, дочка смеётся во сне?
Может, Ангелы с нею играют
И под небо уносятся с ней...*

В народном сознании сон ребёнка оберегают особые мифологические существа: Сон да Дрёма, — а также небесные силы: Ангелы, Богородица... Так сложилось на Руси издревле, что христианская культура не вытесняла дохристианскую, а вовлекала её в свой внутренний мир:

*...Сон идёт по очепу,
А Дрёма по лучикам...
...Баю, баиньки-баю.*

*Не ложися на краю...
...А на завтра Мороз
тебя стянет на погост...
...Не пугайся, Ваня мой,
Богородица с тобой...
Спи со Ангелами,
Со Архангелами.
Херувимы, серафимы
Вьются, вьются над тобой,
Над твоею головой...*

Именно во сне ребёнок растёт – обретает необходимые для будущего качества. Колыбельная – оберег этого средоточия Будущего, Рода, Родины. Смех во сне говорит о том, что Ангелы носят душу дитяти на небеса. Дитя, по невинности своей, достойно взирать на Бога и от созерцания Благодати смеётся. Взрослым такие сны не показываются (разве преподобным, которые “как дети”). Но в мире много и нечистой силы, которая топчет “по тропам”, таится за спиной, стремится погубить дитя – Будущее, Родину: “Будут ночью поскрипывать двери...” – бес ходит, говорят в народе.

Здесь нужен экскурс в народную поэтику и ещё шире – в *народное православиe*: бука, кикимора, домовой, баенник, подовинник в одном ряду с Ангелами, Божьими угодниками, Богородицей, Христом – всё это реально, живо, всё взаимодействует, вступает в невидимую брань, наполняет быт и бытие русского человека... “Слышишь, ветер шумит по сараю...” Сарай – одно из мест средоточия нечистых. Опасны также окно, ворота, порог, перекресток, пристань...

*Баю, баю, баю, бай.
Поди, Бука, под сарай!
Под сараем кирпичи —
Буке некуда легчи...*

Функционально колыбельная является заговором, заклинанием – то есть народной формой молитвы, долженствующей уберечь дитя. Такова же по сути “Прощальная песня” Рубцова. Вслушайтесь: он не поёт – он молится.

А по лесам поют навки, мавки, шуликаны, души погибших некрещёных детей. Это именно их пение (“печальные звуки”) слышит поэт: мёртвые взывают от земли. Это особая тема у Рубцова.

*Так зачем же, прищурив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу,
Ты с ладони кормила меня?..*

Вот оно – центральный образ драмы: “Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел...” Помимо метаисторического грехопадения, здесь то, что бывает с каждым из нас... И каждый раз, отпав от Христа, оказываемся мы “у глухого болотного пня”, “на знобщем причале”... Где цветущее древо и сладкий плод?... – Пень и горькая клюква на ладони.

*Не грусти на знобщем причале,
Парохода весною не жди!
Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.*

*Мы с тобою, как разные птицы,
Что ж нам ждать на одном берегу?
Может быть, я смогу воротиться,
Может быть — никогда не смогу...*

“Парохода весною не жди...” Образ лодки-ковчега не однажды всплывает у Рубцова, ибо это главное перед грядущим Потопом:

*Лодка на речной мели
Скоро догнёт совсем...*

Вглядимся в этот стих внимательнее: “В горнице”... Горница – горнее. Там, где у Рубцова о Доме, то – “дом”, где о избе – “изба”. Здесь: “горница” – место действия задано. Представьте свет реальной звезды (без солнца, без луны) – от того ли “светло в горнице”? Речь идёт о Спасении, и потому рядом с Лодкой другой образ – Матери. Через всю жизнь у Рубцова – “Мать умерла, отец ушёл на фронт...”, “Нёс я за гробом матери // аленький свой цветок...” – духовное сиротство (разрушенная церковь, ковчег). В свадебном причитании существует так называемый “сиротский причет”: вне зависимости от того, жива ли мать или нет, брак не может состояться без её благословения. Невеста-сирота накануне свадьбы выходит на угор и, обращаясь к кладбищу, причитает, призывая мать явиться к ней и благословить. И приходит мать, и благословляет. Это отсюда: “тьнь”, “молча принесёт”, “завтра – хлопотливый день”...

И вот “в горнице светло”, ибо – “матушка” и свет звезды – евангельский свет. И вода, разумеется, не для опары принесена, а для омовения. Завядшие “цветы в садике”, “лодка на речной мели” – всё омоется Материнской Водой покаяния... И будет труд под деревом:

*Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе.*

Удалось ли Поэту построить свой ковчег, ковчежец, лодочку? Всё творчество Рубцова – покаянная песнь за наше нераскаянное поколение. Образ Потопа, образ Дождя, Реки, разделяющей эпохи, судьбы, миры... Образ Лодки найдёт своё завершение:

*А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывёт, забытый и унылый...*

Вот почему: “Парохода весною не жди...”

Вера материалиста в “вечный покой” отринута. Ковчег, обернувшись гробом, отправляется в путь. Впереди – Страшный Суд. “Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи”:

*Может быть, я смогу возвратиться,
Может быть, никогда не смогу...*

Тут не сомнение, а твёрдость в следовании Промыслу. Не “хочу” или “намерен”, а – “смогу”. Тут и Любовь, и Крест несомый... Всё точно настолько, что и читать-то больно, а каково было писать?

Рубцовская песня начинает замыкаться в круг (мы опускаем многое). Обозначим лишь главные корни, связующие стих его с Русской Землей:

*Но однажды я вспомню про клюкву,
Про любовь твою в сером краю —
И пошлю вам чудесную куклу,
Как последнюю сказку свою.*

*Чтобы девочка, куклу качая,
Никогда не сидела одна:
— Мама, мамочка, кукла какая!
И мигает, и плачет она...*

Клюква-пень-плод-любовь – “потерянный рай”... Для человека, чуждого Традиции, “кукла” звучит в этом ряду диссонансом. Между тем, Рубцов не

только выводит древнейший мифологический образ, но и (подсказка нам) указывает жанр: сказка, более того, “последняя сказка”. Вспомните “Хаврошечку” или “Василису”... Деревянная куколка — образ и душа усопшей Матери — заступницы и хранительницы. Вплоть до XX века ставили русские люди “куколок” на божницу за иконы. И в сказках “куколки” улыбаются и плачут, как плачет порой Богородица на иконе. Но ведь иконы-то в Рубцовском Доме нет. Даже в Горнице есть “свет”, есть “матушка” и “тень ивы” на пустой стене... И хотя Ангелы прилетают к дочери, но за отцом по ночным тропам бегут совсем не они... И спасительная лодка “на мели”. Такова судьба Русского Народа в XX веке, и таков дар Русского Поэта: увидеть “в безрадостном сером краю” свет звезды и идти за ним. Есть быт и есть Бытие: иконы в поэзии Рубцова нет, но есть Бог — так было с нами.

В последнем четверостишии всё сомкнулось: “Я уеду из этой деревни”, но “весь я не умру” — и вернётся “последняя сказка”... И уже не мать поёт колыбельную над дочкой, а она сама качает “куколку” — Прошлое, которое только одно и может стать Будущим. А настоящее?... По лику Богородицы катится слеза.

Есть и ещё одно ключевое слово-образ у Рубцова, оставшееся в этом стихе за кадром. Помните пушкинское: “На свете счастья нет, но есть покой...” А у Рубцова:

Бессмертных звёзд спокойное мерцанье...

Я не верю вечности покоя...

Звезда Труда, Поэзии, Покоя...

Над вечным покоем...

Или:

*Когда душе моей сойдёт успокоенье
С высоких, после гроз, немеркнущих небес...*

Наконец, Рубцов готовит книгу, которую так и предполагает назвать: “Успокоение”. Покой. Это чистая совесть, это жизнь в Боге — “До конца, до смертного креста”.

Есть у любимого Рубцовым Тютчева стихотворение “Успокоение” (и не одно!):

*...Душа впадает в забытьё,
И чувствует она,
Что вот уносит и её
Всесильная волна.*

Что уж тут после Фёдора Ивановича добавишь! Но Николай Михайлович не просто добавил, а и воплотил подлинно народное и православное звучание этого слова-образа...

В будущем, вероятно, придётся создать и словарь слов-образов Рубцова. Но пока... пока ещё о другом...

* * *

Сказав о народности рубцовского стиха, пора сказать и о том, ради чего — то есть о философском или, вернее сказать, богословском его содержании. Оставим ещё разговор о таком генетическом источнике Рубцова, как древнерусская литература, — в другой раз... Но о народном православии Рубцова не сказать нельзя. Народное православие, народное богословие — термины, введенные ещё в начале XX века фольклористами и этнографами. В них отражена та детская, чистая вера, которая реально сложилась в старой деревенской Руси. Городская мещанская религиозная жизнь была во многом

иной. О православной жизни аристократии, впрочем, как и столичного пролетариата, к началу XX века говорить не приходится. Естественно, у каждого из этих слоёв российского общества сложилась своя, обособленная не только религиозная, но и фольклорно-поэтическая культура.

Первое, что отличает наше православие и народное богословие (а в целом — традиционную форму сознания) — это монизм. Монизм реализуется именно в православии, через эсхатологию. Западное христианство новейших времен дуалистично. Сколь угодно долго можно рассуждать, отчего закатилось Пушкинское “солнце”, “наше всё”, отчего у Пушкина нет прямых последователей в русской поэзии (есть-есть, но не на виду!), где ясность и радость мироощущения? Откуда надрыв и расщеплённость сознания, карамазовский бунт постпушкинской литературы? А всё просто: Пушкин через свою приобщённость к Святой Руси, через русское сердце своё, вопреки всему разумному багажу — европейскому, секуляризованному, дуалистичному, — пронёс в поэзию главное — свой монизм, а иначе — теоцентризм. Напомним, что пушкинская плеяда писателей выросла на западноевропейском Просвещении: Шекспир, Сервантес, не говоря уже о Блаженном Августине, оказались за рамками влияния. Результат художественного дуализма — атеизм, антропоцентризм: опрокидывание всей образной системы, всего языка русской поэзии. Богословское кредо Запада дуалистично:

*Люди гибнут за металл...
Сатана там правит бал...*

Действительно, без решения проблемы теодицеи (богопримирения — то есть принятия этого мира как Творения Божьего) преодолеть дуализм невозможно. Потому и карамазовщина, потому и бунтует русская интеллигенция — “возвращает билетки”, ибо налицо несоответствие традиционного содержания русской культуры и западного типа сознания, пытающегося содержание это постигнуть. Алёша Карамазов знает, да объяснить не может, Иван не понимает и бунтует — вот раскол Русского Сознания, вот камень преткновения: теодицея. Не хотим-де принять этот мир — не Божий он! Нет любви к миру, нет принятия Промысла Божьего, и всё тут! В противовес всему этому двухвековому напору русской литературы — Рубцов, на одном дыхании: “...мир устроен грозно и прекрасно...” Или вот: “...Мне приятно даже мух гудение...” или — “Ну, что там отрадней, счастливей, // бывает ещё на земле!”, или совсем конкретно: “мы сваливать не вправе // вину свою на жизнь...” Тут дух евангельский, и иначе этого не объяснишь.

Отсюда ещё одна особенность: в применении к философии об этом писали многие (от Соловьёва до Флоренского): в центре западной мысли — гнозис, в центре русской — историософия в её православном, эсхатологическом контексте. Но это соображение и вернее, и первичнее по отношению к русской словесности. В новейшей литературе, после провала в XVIII веке, Пушкин и в богословском смысле есть ключевая фигура. Он вовсе не создавал, как учат нас Гершензоны, русского литературного языка. Он первый из вновь сложившегося писательского класса (после того как Петр отлучил православную Русь от литературы), кто научился писать и мыслить по-русски. *Узки врата и труден путь Русской Словесности*, ибо требует целостности сознания: целомудрия. Рассеченное сознание пишущей братии и по сей день бродит в потёмках, и имя уклонившимся от Пушкинской стези — *легион*.

А что же Рубцов? Его Господь, быть может, как никого другого, рано вывел на эту стезю и хранил

*До конца,
До смертного креста.*

Сознание Рубцова, как и должно в русской традиции, эсхатологично, но не раздробленно. Рубцов теоцентричен (что и Есенину не всегда присуще). Историософия как промыслительный путь истории — главная Рубцовская тема. *Молодое вино в старые меха не вливают* — для явления Русского Духа, безусловно, необходим именно тот образный строй, тот язык русской поэзии, о котором мы говорили. Оттого и Пушкинская солнечность или, точнее, православная созерцательность:

*Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть...
— Филя, что молчаливый?
— А о чём говорить?..*

Действительно, нужно ли говорить о метафорах, ритмах и рифмах, если речь идёт о Любви...

Здесь мы видим столь редкое для современной литературы, но истинно православное решение темы свободы выбора, свободы воли. Тема эта в православном богословии ключевая: верное понимание Промысла, основанного, тем не менее, на свободной воле — вот подход к пониманию теодицеи, подход к верному пониманию греха, покаяния — и, следовательно, спасения.

* * *

Голос Рубцова...

Сейчас вышло целое море воспоминаний о Рубцове: “Я сидел справа — он слева... мы выпили то-то и то-то...” Ну, что же, для биографа и это важно. Но по сути Рубцовской поэзии... Между тем, ещё один ключ к её сути — голос поэта.

Удивительно: все вспоминают теперь, как замечательно пел Рубцов, и под гармонь, и под гитару, и своё, и не своё. Даже Тютчева и Фета пел...

И когда пел? В начале шестидесятых, когда вышли на свет Божий все наши барды.

И где пел? Чуть ли не в тех же компаниях, где пели и они: в общежитии Литинститута, на квартирах общих знакомых. Отчего же бардовские песни — и хорошие, и не очень — разошлись на плёнках миллионными тиражами, а единичные записи Рубцова канули в Лету?.. Посмеялась московская богемка — “юродивым” обозвала.

Удивительное пение Рубцова. Пение в манере старинных русских тюремных песен. Этот жанр восходит к протяжной лирической песне, к духовному стиху, к притче, к былине. Обычно при упоминании о тюремных песнях у современного человека возникает ассоциация с одесским блатным жанром, но это “две большие разницы”. Блатная песня имеет еврейское, отчасти немецкое происхождение, что заметно и в мелодическом строе, и в поэтике, и в манере исполнения. Блатная песня во многом повлияла на развитие городского романса XX века, вышла наружу в творчестве бардов в 60-х, а сейчас просто заполонила эстраду, являя собой гибрид блатного жанра с западноевропейской поп-культурой.

Барды пели именно то, что от них хотела слышать столичная, далеко не русская интеллигенция. Были ли эти барды талантливыми патриотами или бездарными русофобами, выбранный ими жанр, весь дух его и стилистика вели их в сторону от Русского Пути. А Рубцов с его исконно русским пением (и декламацией) был просто не понят и не принят. Посмертная слава Рубцова привела к тому, что за него ухватились профессиональные композиторы: Бог им судья — не ведали, что творят. Мы не говорим уже об исполнении Рубцова на эстраде... Эстрада и Рубцов — вещи несовместные. В фольклорной традиции исполнительская манера не форма — она часть содержания, отражающая иной тип сознания. Это, если угодно, совместная молитва. Какая-то часть Смысла передаётся помимо текста, непосредственно от исполнителя к слушателям. На бумаге мы её теряем, а при самочинном исполнении губим и остальное.

Рубцова нужно слушать. Надо снова стать Русскими Людьюми, полюбить Россию, а для этого от нынешнего песнопения придётся отречься: “тьфу — тьфу — тьфу!” Тогда мы и услышим по-настоящему:

*Я уеду из этой деревни,
Будет льдом покрываться река...*

“Я в ту ночь полюбил все тюремные песни...”
Слово второе

*...Я в ту ночь позабыл
Все хорошие вести,
Все огни и призывы
Из родимых ворот.
Я в ту ночь полюбил
Все тюремные песни,
Все запретные мысли,
Весь гонимый народ...*

Вот опять январь. Снежный, холодный. Снова поминаем Рубцова. Упокой, Господи, душу... Да и нашим душам тоже успокоиться бы: вроде и признали уже Русского Поэта. Печатают. Поют... А всё не спокойно как-то на душе. Чего-то недопоняли мы, кажется. Что-то утеряли...

*...Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля — останься, моё божество!..*

Тут же, рядом с рубцовским, вспоминается пушкинское: “Не дай мне Бог сойти с ума...” и дальше — про “пустые небеса”...

Человек слагается (и как поэт тоже) лет где-то до семи. Поэтому не книжное слово (оно вторично), а то, что человек услышал до... — важно. Не Литинститут отнюдь Рубцова сделал Рубцовым. Русский фольклор двадцатого столетия — Русское Слово и русский быт деревни, городской окраины, общезжития и казармы, — всего того, что было так характерно для нашей Родины, несшей запредельно тяжёлый крест всеобщего спасения, заблуждавшейся, надрывающейся и... поющей...

По ставшему классическим определению Е. Н. Трубецкого, древняя иконопись есть “умозрение в красках”. В другом месте он сказал: “богословие в красках”. Перефразируя его, скажем: фольклор есть богословие в песнях. Именно выражением *народного богословия*, воспринятого через Устное Слово во всем его объёме и многообразии, и стала поэзия Рубцова.

Мы настаиваем именно на том, что “во всём объёме”.

— Ну, — скажут нам, — ну, духовный стих “О Страшном Суде” или там “Голубиная Книга” — это мы понимаем, это действительно явление народной веры. Но вот уж “Камаринский мужик...” — это Бог знает, что такое!

Но мы всё-таки останемся при своём — низких жанров в подлинном фольклоре нет. Просто всему своё время и место. Есть в народном слове своё таинство и своя благодать, есть соприкосновенность через слово со Словом. И это от Адама ещё.

*От всех чудес всемирного потопа
Досталось нам безбрежное болото,
На сотни верст усыпанное клюквой,
Овеянное сказками и былью
Прошедших здесь крестьянских поколений...*

И действительно, воцерковлённость наша, сиявшая по пúстыням и монастырям, еле теплившаяся порой по городам, не до всякой деревни дошедшая, покорёженная реформами Петра и Екатерины, надорванная Расколом и много чем ещё... при Советах и вовсе опрокинута, — благодати всё же не утратила. И верится нам, что не только в церковной ограде, и даже не столько в ограде, но и в миру жила Святая Русь. Во всех “прошедших здесь крестьянских поколениях” жила.

Здесь всё тесно переплелось — духовные стихи, былины и поэзия знаменного распева, обрядовая лирика, колыбельная, причет... Есть фольклорные жанры, которые за тысячелетия своего существования, с дохристианских времён, не претерпели, кажется, никакого внешнего изменения. Но это только внешне... Они изначально в Боге укоренены.

Человек, конечно, пал, но не так, как Денница, нечто Божественное — образ и подобие — осталось в нём. Вот их-то — образ и подобие — и передают нам народный дух и традиция. Слово, обычное, речённое нами, — оно по образу и подобию нашему строится, а потому и закону христианской антропологии подвластно. У слова — тело (звук или начертанные буквы), душа (образ, за словом стоящий) и дух, непосредственно нами не постигаемый, но от Духа Святого исходящий, “сотворённый прежде всех век”.

Если всё же отказаться от секуляризированного нашего литературоведения и попытаться ответить на вопрос, что отличает подлинную поэзию от прочей скоромимоходящей... Так это дух слова. Он изначален и явлен нам вместе с явлением русского языка (при столпотворении, по Писанию). Действительно, образы, ритмы — весь поэтический язык, созданный тысячелетия назад, — современным поэтом только угадываются и интерпретируются, что же до духа слова, то он грешным человеком не творится, а только передаётся. Тут главный вопрос: что есть сознание, — но мы его раскрывать здесь не будем. Отметим только, что сознание, во-первых, есть проявление Слова... через слово, в том числе. Это и есть содержание поэзии, её подлинная, не поверхностная (тематическая, словесно-телесная) воцерковленность.

Рубцовская судьба (с сиротством, не востребованностью и ранней смертью) — это судьба Русского Фольклора, то есть Русского Народа в нашем веке. Умирает народное слово, и вот уже уходит, как вода в песок, русский народ, сменяется русскоязычным населением. Чтобы понять, что есть поэзия Рубцова, нужно вслушаться в этот удивительный напев, всмотреться в эту последнюю, ускользающую страницу великой летописи русской культуры.

XX век для России (если говорить о внешнем, политическом) — это век революций, прихода коммунизма и его крушения... Если же о сути, о существе, то XX век — это век последнего взлёта, ухода, отлёта куда-то Туда народной культуры (это и в демографии видно: как только отлетела душа народная — начали русские вымирать). Так, перед татарским нашествием расцвела и взлетела высоко культура Киевской Руси, прежде чем пасть под “тупой башмак скуластого Батыя”...

Что же было, что звучало, пело в этих вологодских, архангелогородских, североморских, питерских, московских скитаниях? Звучали над зыбкой колыбельные матери, звучали молитвы (мать — Александра Михайловна — пела в церковном хоре), звучали песни детских игр и вечёрок. Великая Война звучала далёкой — аж до Камчатки! — канонадой и причетами, этой древнейшей скорбной поэзией Руси. Потом было то, что в фольклористике называется романсовой культурой: детдом звучал разбойничьими, тюремными песнями...

*Вот умру я, умру я,
Похоронят меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.
На мою да на могилку,
Знать, никто не придёт...
Только ранней весной
Соловей пропоёт...
Пропоёт и просвищет,
И опять улетит...
.....
Позабыт-позаброшен
С молодых-юных лет,
Я остался сиротой,
Счастья-доли мне нет...*

И здесь весь Рубцов. Ведь эти “тюремные” песни из духовных стихов идут, из протяжных воинских и обрядовых песен. Здесь — драма (или, по-народному говоря — притча), предчувствие гибели, но и радость, любовь, Родина — и чистота, какая нам уже недоступна, быть может. Иные считают эти песни низким жанром...

Рубцов — драматический поэт. Сущность драмы определяется не тем, насколько развит сюжет, а наличием промыслительного действия — участием

Промысла в течении событий. Таким образом, “лирический герой” Рубцова – это драматический герой, а его стихи – “маленькие трагедии”.

Морская жизнь Рубцова и пролетарская – по общагам и рабочим посёлкам – тоже звучала – и как звучала! – в те 40–50-е годы...

*Три гудочка прогудело,
Все на фабрику пошли....*

*Есть по Чуйскому тракту дорога,
Много ездит по ней шоферов...*

*Последний нынешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья...*

Таганка! Все ночи, полные огня...

На фоне лживых салонных романсов, на фоне бравурных маршей, несущихся из радиоприёмников, всё это было как глоток чистого воздуха. И это был голос подлинного, ещё живого, не погребённого русского народа. Созвучен этому голосу и Есенин, так любимый Рубцовым, да и Пушкин, и Тютчев, и Фет... А Вологодская земля ещё хранила свою архаику, свои досюльные песни. Это только, пожалуй, в послевоенную пору и было возможно услышать за одним столом и обрядовый фольклор, и тюремную песню, и... “Катюшу” на слова М.Исаковского...

*Ой, ты молодость моя молодецкая,
Ты куда прошла-прокатилась...
А со мной, с молодым не простилась...
Я пойду, молодец, да во конюшенку,
Оседлаю я коня ворона,
Полечу стрелой — ясным соколом,
Догоню-верну свою молодость...*

Так поётся в старой народной песне. Тут и философская глубина, и... но суть-то не в том, что “прошла-прокатилась”, а в покаянии. Тут мы вернёмся к образам русского поэтического языка. Ранее была обозначена цепочка слов-образов из рубцовской “Прощальной песни”: ребёнок–колыбель–лодка, дерево–сад–женщина, родина–церковь–мать–ребёнок. А здесь мы снова вернёмся к саду и дереву. О листьях: (человек–судьба–лист – ср. Псалом 1: “И будет он, как дерево, посаженное при потоке вод, которое приносит плод свой во время своё, и лист которого не вянет...”):

*Так чего ж нам качаться на голых корявых ветвях,
Лучше оторваться и броситься в воздух, кружиться...
(Есенин)*

А у Рубцова – листья уже опавшие (опавший лист – символ смерти, жатвы – эсхатологический образ):

*А последние листья
Вдоль по улице гулкой
Все неслись и неслись,
Выбиваясь из сил...*

Или:

Облетели листья с тополей...

Осень, отлёт птиц. Образ осени у Рубцова особый. У Пушкина это “в багрец и золото одетые леса...” – время накануне жатвы, некое торжество.

У Рубцова – эсхатология: “за ограду летят лепестки...”

И:

*...в этот день осеннего распада
И в близкий день ревущей снежной бури
Всегда светила нам, не унывая,
Звезда труда, поэзии, покоя...*

За отлётом птиц и опаданием листвы наступает Покой – один из центральных образов Рубцова... “Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего в месте светлом, в месте златчем, в месте покойном...” Православная эсхатология – это тоже торжество, но иное: не страх, не ужас... Так у Рубцова:

*Светлый покой
Опустился с небес
И посетил мою душу!
Светлый покой,
Простираясь окрест,
Воды объемлет и сушу...*

Рубцовская звезда полей есть, в первую очередь, Звезда Покоя, что через Труд даётся и через Поэзию явлена. Рубцову чужд дуализм, его сознание теоцентрично: вроде бы “отговорила роща золотая...”, но есенинского надрыва нет. Значит, тут о чём-то другом ещё...

Есенин и Рубцов. Это настолько очевидно. Об этом писано и говорено. Каждый, кто приникнет к их поэзии, почувствует удивительное родство. Но в чём оно? Рубцов абсолютно самостоятелен, нет у него ни есенинской метафоры, ни живописности языка. Даже хулиганство их какое-то разное. Есенин сказочен, эпичен, он из мифа, его судьба и поэзия – мифотворчество. Рубцов – персонаж духовного стиха, юродивый; тут трагедия, притча... Иван-царевич и Алексей – Человек Божий. Юродство не мнимое, подлинное – во Христе. В Есенине это только начинает проглядываться, в Рубцове – поёт. Почти как в стихе об убогом Лазаре:

*...я пришёл к тебе в дни непогоды,
Так изволь, хоть водой напои.*

А что всё же их объединяет?

Прямое прикосновение к Русскому духу, к душе народной, через образы и суть, а не через метафору и форму.

Тем не менее, не по форме, по духу Рубцов – продолжатель Есенина, но и Тютчева и Фета, а также крестьянских поэтов XIX века: Кольцова, Никитина, Плещеева, Сурикова...

Продолжает Рубцов и Пушкина. Если есть у нас в ком-то пушкинская простота и ясность, так это в Рубцове:

*Зачем ты, ива, вырастаешь
Над судоходною рекой
И волны мутные ласкаешь,
Как будто нужен им покой...*

Это уже лермонтовская “лодка”, сквозь пушкинские “покой и волю”, мелькает...

*А есть укромный край природы,
Где под церковною горой
В тени мерцающие воды
С твоей ласкаются сестрой...*

Да, “под церковною горой” “воды глубокие плавно текут”, но зачем, “зачем крутится ветер в овраге...”? “Обитель дивная”, куда “бежит” Пушкин и из которой, навстречу ему, – Рубцов.

Образ Покая у Рубцова – это образ Храма:

Живу вблизи пустого храма...

*Купол церковной обители
Яркой травой зарос...*

*С моста идёт дорога в гору,
А на горе — какая грусть! —
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь...*

Храм пуст не потому, что большевики разорили, а потому разорили, что пуст оказался. Тут не ругаться надо, а каяться... Мёртвый храм – наглядная эсхатология. Из современников ближе всего Рубцову Шукшин: во все переломные моменты судеб его героев (в прозе ли, в кинематографе) где-то на заднем плане – разрушенная церковь. И это не просто констатация, тут глубже: у Константина Симонова есть хорошее стихотворение: “Жди меня, и я вернусь...”, но насколько сильнее в первоисточнике (у Н. Гумилева): “Жди меня – я не вернусь...”

Птицы отлетели, листья “несутся вдоль по улице гулкой” (“сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют...” – опять пушкинское слышится) и храм порушен и... будет хуже “в близкий день ревущей снежной бури...” Но – “как будто спит былая Русь”, “...я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны...” Так сказано, “ибо не умерла девица, но спит”. Оттого и светлы песни рубцовские, что сколь бы трагично они ни звучали, есть в них вера в истинное бессмертие. Истинный Храм нерушим – для народного сознания Родина и Церковь тождественны. Россия – Третий Рим, Дом Пресвятой Богородицы – это с молоком матери... И покаяние перед Родиной, и благодать – через неё:

*...О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно Ангел, под куполом синих небес!..*

Усомнившиеся строили (Толстой, Горький) “новую церковь”, отворачиваясь от старой (порой заслуженно, порой от непонимания), строили, соблазненные зыбкими миражами западного гуманизма. Есенин – что говорить! – от этой стези не уберёгся, побогоборчествовал до срока. Ничего подобного у Рубцова нет. Покаянный опыт XX века не прошёл даром. Да чист он был, детдомовщиной своей крещенный, “до конца, до смертного креста”. Всякое богоискательство ему чуждо. Тот грех – от уныния (“всегда светила нам, не унывая, звезда труда...”), от утраты традиционного мышления (монизма). Дар Рубцова – и в этом истинное проявление народного богословия – переплавлять в песнях своих земную скорбь в чистую благодать поэзии.

*Мы сваливать не вправе
Вину свою на жизнь.
Кто едет, тот и правит,
Поехал — так держись!*

Вот и вся теодицея. Вот над чем бился Иван Карамазов, а Алёша только молчал в ответ. Ответил-то Ивану – Николай Рубцов.

Ходасевич, когда-то разложив Есенина по косточкам, “доказал”, что тот “полуязычник”. Что бы он сказал о Рубцове? Но по отношению к Есенину это неверно, а по отношению к Рубцову – вдвойне. Ибо авторского тут нету, а есть душа народная, которая “язычницей” никогда не была.

Вернёмся к эпиграфу: “Позабыл... все огни и призывы из родимых ворот”... Вообще-то родные ворота уже были – была какая-никакая избушка... и жена, и дочка, но не про это... Был отказ от дома во имя креста Юродства, пути, издревле выбираемого каликами переходими. Их дом – Россия, и храм их – Россия, и долг их – плакать и каяться за весь народ.

Вечный странник, “неведомый отрок”, одному старому солдату-калеке (своему же брату-юродивому), да и то в бреду лишь, зримый...

Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны...

И пока скачет – слышится его голос, поёт и трепещет бессмертная душа Рубцова. Ибо бессмертна Отчизна и бессмертна её словесность. А нам – зде сущим – “в близкий день ревущей снежной бури” завещано, как оберег, чтобы

*...Всегда светила нам, не унывая,
Звезда труда, поэзии, покоя,
Чтоб и тогда она торжествовала,
Когда не будет памяти о нас.*

**“Грусть и святость...”
Поэтическое богословие Николая Рубцова
Слово третье**

*И свет во тьме светит, и тьма не
объяла его...*

Евангелие от Иоанна

*...И эту грусть, и святость прежних
лет
Я так любил во мгле родного края...*

Николай Рубцов

Один известный православный литературовед – а их у нас раз, два и обчёлся! – назвал Рубцова душевным (читай: бездуховным) поэтом, другой обозвал пантеистом... Жаль хороших, в общем-то, людей – не расслышали они слова рубцовского...

Рубцов – “пантеист”. Ах, ах, грех какой!

Нет, конечно же, ничего пантеистического, тем более “языческого” в поэзии Рубцова. Его восприятие природы, да и всего Бытия носит православный, традиционно народный характер.

Пантеизм не в том состоит, чтобы одушевлять природу. У природы есть душа. Обездушивают природу атеисты. Истинное христианство предполагает в природе и Дух (“иже везде сый и вся исполняй...”), и душу (“и чтобы, как наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей”). Так учит нас Писание, так учили Св. Отцы (подбор высказываний по теме см. у Св. архимандрита Луки в его книге “Наука и религия”). Беда наших современных пантеистов от литературы в том, что они вовсе не одушевляют природу, как это в действительности (в согласии с народной традицией) делает Рубцов, а придают ей антропоморфные черты, мыслят природу не Божьим Творением, а продолжением (отражением) своего “Я”. Но:

*Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык... —*

прозревал столь любимый Рубцовым Тютчев.

Разница между язычеством и христианством в том, что за одушевлённой природой христианство видит Творца, а само бытие воспринимает как Творение. Вот это-то ощущение, как ощущение или прямым текстом, – и становится лейтмотивом поэзии Рубцова:

*Светлый покой
Опустился с небес
И посетил мою душу!*

*Светлый покой,
Простираясь окрест,
Воды объёмлет и сушу...*

Кто ещё в русской поэзии сумел выразить такое! Здесь “Покой” – это и Отец, и Сын, и Дух Святой. И “всякое дыхание” у Рубцова “хвалит Господа”. И как замечательно, что не преступал Рубцов заповеди “Не поминай Имя Господа Бога всуе!”, а всякий раз находил слово, точно передающее Божье присутствие и Промысел. (Здесь совсем не в цензуре дело. Сколько раз в те же годы поминали имя Божье в стихах Вознесенский или Евтушенко и, кажется... ни разу по сути.) Потому-то и нет в поэзии Рубцова богоборчества, столь традиционного для русской литературы последних двух веков, что ощущение Бога у Рубцова – реальность не преходящая. В этом его уникальность и в этом его не явленная со времён древнерусской словесности тождественность народной поэзии.

В чём же он “язычник”? Может Рубцов, где-то хулит Дух Святой? Отнюдь. Может, проявляет дуализм в своём творчестве? Где же? Или его поэтическая эсхатология оказывается за рамками православной традиции? Нет, и тут у него в десятку. Некий “православный” деятель воспылил гневом, – да не на меня, грешного, а на рубцовскую фонограмму, что вставил я в свой рассказ о Рубцове: “...лучше выпьем с тобой на прощанье/ за недолгое счастье в груди...” – пропел в эфире крамольник. Вот “язычник”-то!

Дай волю нашим деятелям, они не только “Буря мглою небо кроет...” – и дальше там про кружку что-то, но и Кану Галилейскую из Евангелия вымаруют.

Да и не в этом же дело! Если серьёзно, что всё-таки мешает иным воцерковлённым деятелям воспринимать Рубцова? Причём уж и Есенина – со всеми-то грехами! – принял давно, – отмолил, видать, народ, а Рубцова?..

Ну, хорошо... – “язычник”.

А чего мы, собственно, испугались?

Конечно, на нас действует тысячелетняя традиция борьбы с язычеством. Когда-то оно выступало гонителем христианства, потом суровым конкурентом (заметим сразу: не народная традиция гнала, а “мир сей”). Не то теперь. Пора бы оглянуться и понять, что страшны не “язычники”, а безбожники. Кто такой “язычник”? Это уже верующий человек, ближайший кандидат на воцерковление. Вот с безбожником сложнее... Но беда в том, что и подлинных “язычников” давно нет, а есть мелкая игра в неоязычество. За ней, естественно, не традиция, а рефлексия на непонятое христианство, нежелание понять и принять. (Есть в неоязычестве и тяга к “народности”. Что ж, это потому, что мы, православные, не уделяли “народности” этой должного внимания. Наш грех...)

Вернёмся к поэзии. Приглядимся...

Где язычники-то? Есенин? Клюев? Нет, это *запоэтизированное православие*. Окружённое, правда, Сиринами и Алконостами, но – православие! Вот Городецкий с Хлебниковым... “шаманят” (по выражению Рубцова) – тут есть некая неоязыческая игра (от незнания народа), но кому это надо? Если что-то осталось от них в литературе, то как раз там, где они христиане. И, наконец, Рубцов: нет и не было, пожалуй, в нашей поэзии более точного *православного катехизиса*:

*До конца,
До тихого креста,
Пусть душа
Останется чистой!..*

Богословие Рубцова может быть раскрыто и понято только через раскрытие *народного богословия*. Но как далеки мы ныне от него...

Короче и проще: Русский дух – не пустые слова (не только там какая-то *народная душевность!*) – есть проявление Духа Святого, “Промысел Божий о народе”, а ещё проще: то, что мы называем Родиной. По-русски слово “Родина”, как и “Бог”, пишется с большой буквы. И действительно, доказательство тому – всё творчество Рубцова, поскольку истинное познание Родины возможно только через Богопознание.

Вот одно из замечательных мест в воспоминаниях Сергея Багрова (Багров С. Детские годы Коли Рубцова. Вологда, 2003. С. 27):

“ – Как много здесь русского! Как я люблю эту местность! Откуда всё это? И для кого? Ты не знаешь?

- Не знаю, – ответил я.
- Значит, мне предстоит.
- Что предстоит?

Рубцов показал на двор, огород, ров и ропщущие деревья:

- Узнать: почему всё это так сильно действует на меня...”

Удивительно точная (и программная!) для пятнадцатилетнего Рубцова и ключевая для нашего понимания его творчества фраза: “Мне предстоит...” Отнюдь не такова была общелитературная тенденция восприятия Родины: “Я оглянулся окрест – душа моя страданиями язвлена стала...” (Радищев).

“Выдь на Волгу! Чей стон раздаётся...” (Некрасов).

И совсем уж тупиковая формула при взгляде на Россию: “Куда смотреть не стоит...” (Бродский).

Беспросветно. Не “действует всё это...” Приплыли.

У Рубцова: “Когда душе моей // земная веет святость...” Не приземлённая, а земная, то есть от земли исходящая. Тут о культе Богородицы, вмещающем в себя культ Матери Земли, рассказать бы надо... А у них: “Куда смотреть не стоит...” Правда, у наших, по выражению Евтушенко, “больше, чем поэтов”, за гнётом и стоном впереди – светлое будущее. NB!: Светлое будущее, разумеется, только у наших! Но именно у Рубцова дан истинно христианский взгляд на историю и бытие: эсхатологично не настоящее, а будущее: “Таким всё было смертным и святым, // Что до конца...”, “До конца, до смертного креста...”

Чёткое православное ощущение Богобытия (адамово, догреховное) было мало свойственно нашей классической поэзии (в отличие от поэзии народной). Пушкин, Лермонтов, Есенин только проложили пути... С наибольшей ясностью это мироощущение явилось именно у Рубцова. Он как бы завершает русскую классическую литературу, смыкая её с народной по существу: преодолевая затянувшуюся на несколько столетий секуляризацию русского литературного сознания. Именно этим Рубцов и дорог народу. И это, конечно, ну-трём познаётся.

Никакая внешняя словесная наполненность не может сделать поэзию христианской (и народной, русской), если нет в ней этого дара – ощущения присутствия Божия, ощущения Промысла, Страха Божьего и Божьей Любви.

Дар Рубцова в том и заключался, что он ничего не сочинял, а умел прислушиваться и слышал “печальные звуки, которых не слышит никто...” Рубцов умел отбросить “голоса” и соблазны и услышать глагол Божий, то есть умел **предстоять**:

...о дивное счастье родиться

В лугах, словно Ангел, под куполом синих небес...

Сначала кажется: как будто Ангел, но нет: здесь подлинная ангельская ипостась, ибо: “боюсь... **разбить свои крылья** и больше **не видеть чудес...**” (выделено мною. – А. Г.).

Можно бесконечно долго вчитываться в каждую рубцовскую вещь. Особенно в такую, как своего рода “Памятник”: “Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны...”. Но разбор *такой вещи* превратится у нас в богословский трактат... Мы остановимся на небольшом и редко поминаемом (хотя тоже программном – название стиха вынесено в название книги!) стихотворении “Душа хранит”.

Предельно просто и осязаемо доступно открывает Рубцов факт бессмертия души* (выделяем логическую цепочку):

...О, вид смиренный и родной!

Берёзы, избы по буграм

* Интересно проследить связь всех шести стихотворений, вынесенных Рубцовым в заглавия книг: “Мачты” (книга вышла с редакторским названием “Лирика”), “Звезда полей”, “Душа хранит”, “Сосен шум”, “Зелёные цветы”, “Успокоение”. В каждом из них развит свой образ: корабль, звезда, храм, дерево... Но связующей нитью проходит идея бессмертия.

*И, отражённый глубиной,
Как сон столетий, Божий храм.
О, Русь — великий звездочёт!
Как звёзд не свергнуть с высоты,
Так век неслышно протечёт,
Не тронув этой красоты,
Как будто древний этот вид
Раз навсегда запечатлён
В душе, которая хранит
Всю красоту былых времён...*

Итак: **Красота** отражается вроде бы **глубиной** воды, но **Красота**, по Рубцову, есть **Божий Храм**, а глубина, оказывается, это и есть **душа**, которая одна лишь способна хранить **Красоту**, причём **Всю Красоту**. Параллельно развивается целое древо образов: Храм над водой — ковчег, лодка; Русь-звездочёт — страна, чтящая звёзды (небо) и в переносном смысле, и в прямом (см. культ Рождественской мистерии в народной поэзии: колядки, фольклорный театр, эпос... образ звезды Вифлеемской). *Избы по буграм*, в общем контексте поэзии Рубцова, — тот же ковчег, та же память о Потопе (“От всех чудес Всемирного Потопа...”)

Первое четверостишие, которое мы не случайно опустили:

*Вода недвижимее стекла.
И в глубине её светло.
И только щука, как стрела,
Пронзает водное стекло. —*

Оно может показаться лишь экспозицией, призванной снять философскую напряжённость стиха. Но уже здесь дана истинно богословская предпосылка: “и в глубине её светло”. А дальше поэт как бы готовит место (“и свет во тьме светит...”) для отражения предстоящей Красоты:

О, вид смиренный и родной! —

Взгляд не по принципу “Я оглянулся окрест...” (значит, до этого не видел ничего?), а истинное видение того, что отражено в **светлой глубине**. Бессмертие души прямо следует из бессмертия Красоты, где бессмертие носит не условно-эстетический, относительный характер, но абсолютный.

Отсюда и “сон столетий” — это не буквально. Это мысленное “скакание”, как “мыслью по древу”, “по холмам задремавшей Отчизны”. Разумеется, не о “русской лени” (столь любезной интеллигентской поэзии лжи на русского человека!) здесь речь. А речь об уровне поэтического взгляда, когда земное представляется лишь сном по отношению к **небесному**.

Вернёмся к эпиграфу. Святость Богоданной красоты Отчизны очевидна (сто́ит, сто́ит на неё смотреть!), но почему грусть...

Может быть, “выдь на Волгу” и... “Как скучно жить на белом свете, господ...” Нет, это не про русский народ, это про “господ”. Словом, как говаривал сам Рубцов: “Грусть, конечно, была, да не эта...”

У Валентина Непомнящего есть верное замечание: в Пушкине-де содержится “эмбрионально” вся русская литература. Верно, хотя, конечно, не в Пушкине, а в Боге, что через Пушкина (и, главным образом, через фольклор) отражено. Просто и Пушкину, и Рубцову дана была общая истинная нота:

*Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто поневоле
И скроется за край окружающих гор.
Пылай, камин, в моей пустынной келье;
И ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.*

*Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку,
И пожелать счастливых много лет...*

О, сколько можно было бы припомнить здесь рубцовского! Тут, понятно, и:

*Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда...*

Но главным образом:

*Мне грустно оттого,
Что знаю эту радость
Лишь только я один:
Друзей со мною нет...*

Нет, на самом деле он знал, что мы есть, мы придём и радость эту с ним разделим. Иначе зачем же всё! Но это *Здесь*, а *Там*... “Многими скорбями Царствие Небесное даётся...”

Потому что *Здесь* — “Сон столетий...”, “Я буду скакать по холмам задремавшей...”, “...как будто спит былая Русь”. Это не про летаргию — про павший и ветхий, а потому только и **грустный**, но, тем не менее, прекрасный, а потому и **святой**, — ибо не Богооставленный! — наш здешний мир... И ещё — про зримый и слышимый сквозь него мир иной — “жизнь будущего века”...

*Когда душе моей сойдёт успокоенье
С высоких, после гроз, немеркнущих небес...
.....
Когда душе моей земная веет святость,
И полная река несёт небесный свет...*

Или — “В святой обители природы”:

*...Усни, могучее сознание!
Но слишком явственно во мне
Вдруг отзовется увяданье
Цветов, белеющих во мгле.*

*И неизвестная могила
Под небеса уносит ум,
А там — полные светила
Наводят много-много дум...*

“Много-много дум”, “...и полная река несёт небесный свет”, и “...незабываемые виды! Незабываемый покой!..” Вот отчего “так сильно действует” на нас творчество Рубцова. Он вполне ответил на вопросы, которые перед ним поставил Господь.

Вернёмся к другому эпиграфу и продолжим.

“...Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете...”

**Акафист России Николая Рубцова
Слово четвёртое**

*Я буду скакать по холмам
задремавшей Отчизны...*

Поскольку выше слово о стихе этом замолвлено было, то значит, и нельзя не сказать о нём теперь...

О чём, собственно, речь? Один из авторов воспоминаний о Рубцове отсылает нас к холмам Бродского.

Это вряд ли.

Вряд ли холмы Бродского могли хоть как-то привлечь внимание Рубцова. В тех холмах вопросы скорее для психоаналитика, чем для поэта. Безусловно, и не косвенно, а прямо Рубцов напоминает нам о Бояне из “Слова о полку Игореве”:

*Боян бо вещей
Аще кому хотяше песнь творити,
То растекашися мыслию по древу,
Серым волком по земли, шизым орлом под облакы...
.....
...скача, славию, по мыслену древу,
Летая умом под облакы,
Свивая славы оба полы сего времени,
Рища в тропу Трояню
Чрес поля на горы...*

(Заметим в скобках, что Троян, по мнению некоторых исследователей, – языческий бог, которого мы можем понимать как некую предтечу Троицы).

Вот мысленное “скакание” по древу бытия в поэзии Рубцова:

Я буду скакать по следам миновавших времён...

Это весьма развёрнутый образ, оваянный

*...сказками и былью
Прошедших здесь крестьянских поколений.*

Или ещё:

*То по холмам, как три богатыря,
Ещё порой проскачут верховые...*

Тут эпос слышится, былинный дух. Тут многие строки аукаются со “Словом”:

“Рыща... себе чти, а князю славы” – “Как прежде скакали на голос удачи капризной”... “Восторженный сын удивительных вольных племён...”

Или вот, самое очевидное: “Взбегу на холм...” – и... открывается историческое зрение: “С моста идёт дорога в гору, а на горе...” Здесь речь о горнем (“По косогорам Родины брожу...”), и не только о горнем... Вся онтология России строится из движения по косогорам (холмам) истории.

О “Сне” Отчизны мы уже писали не раз. Это удивительная рубцовская тема: “Как будто спит былая Русь...” Здесь сон есть некая остановка времени: “Уж на часах двенадцать прозвенело // И сон окутал Родину мою...”

Художник останавливает время, ибо сей мистический акт необходим ему для свершения “мысленного” скачка по древу времён. Здесь (“Я буду скакать по холмам...”) явлено время мифологическое, подвластное автору и присутствующее днесь в его поэзии, но отнюдь не очевидное нам.

Нас – читателей – автору ещё предстоит ввести в своё временное измерение.

Первое четверостишие заканчивается многоточием, что у Рубцова знак особый – некий внутренний период:

*Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны,
Восторженный сын удивительных вольных племён!
Как раньше скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времён...*

Далее мы, не вдаваясь в подробности, посмотрим, что происходит в этих периодах, отмеченных многоточием: 4 строки, 8, ещё 8, 7, 5 и 8 строк.

Итак, второй период: “Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность...” – из мифологического прошлого мы переносимся в прошлое недавнее, в счастливое детство. Вроде бы реальное и памятное лирическому герою, но... не менее мифонасыщенное: былинный председатель колхоза, доблестный труд, честность жнеца (жито, житницы – см. и фольклорные, и евангельские притчи). Наконец, “майский костюм” – чуть ли не адамов!

Вот как выглядит этот “скок по холмам” в одном из самых ранних и удивительных стихов Рубцова – “Деревенские ночи”, где скачет герой в “майском костюме”, и манят его “сумерки полей, мерцание звёзд, ржание коней...” (всё это вместе выльется потом в “голос удачи”):

*...Для меня, как музыкой, снова мир наполнится
Радостью свидания с девушкой простой...*

В семнадцать лет писано! Перекликается со зрелым уже Пушкиным: “Одно любви музыка уступает, // но и любовь – мелодия...”

“Веселье воскресных ночей...” – да не покажется вам сие лишь плотским движением души! И здесь Бог – ибо заповедь первая: “Плодитесь и размножайтесь”. С ужасом задумываешься об этом “во мгле над обрывом” вымирающей России. И девушки есть хорошие, и парни, а страна вымирает: радости нет – мир “музыкой не наполняется”... Или наполняется – да не той...

Вернёмся ко второму периоду: “пенье и смех на лужке” – рай, райские кущи, но... “мимо неслись в торопливом немолкнувшем шуме” – это восьмиштишь заканчивается образом потопа: “в немолкнувшем шуме (заглушающем постепенно “пенье и смех”. – А. Г.) // весенние воды и брёвна неслись по реке...”

Сразу вспоминаются многочисленные “потопы” из поэзии Рубцова:

*“...из моей затопленной могилы // гроб всплывёт...”**

Следующий период (ещё один временной скачок – в настоящее):

*Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!***

Россия после схлынувшего потопа. Тут не только о катастрофе российской судьбы XX века. Не так уж и плох был XX век: и рай был с “пением и смехом”, “а мимо неслись” – то есть рядом бушевало... Но не только об этом. Тут уловлена более глобальная катастрофа:

*Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели...*

Вот и брошенный после потопа ковчег. Что же случилось вследствие “померкших звёзд”? А вот что – рухнувший храм и растоптанная корона:

*И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей...*

Звёзды померкли, померкли и поля. Ещё о звёздах: “А надо мной бессмертных звёзд Руси...”, “Светятся тихие, светятся чудные...”, “как звёзд не свергнуть с высоты...” Но почему же “пустынно мерцает померкшая звёздная люстра...”? Возможна ли гибель “бессмертных звёзд Руси”, то есть гибель Руси небесной и, значит, безвозвратная уже гибель Руси земной? Вот о чём задумывается автор, но отложим пока...

Итог восьмиштишья: “Но жаль мне, но жаль мне...” Этот период, характеризующийся понятием **ныне**, закончен. Это “ныне” настолько кратко, что если бы не “пенье”, его можно было бы определить как “безвременье”.

* И это, кстати, у Пушкина мелькнуло – потоп в “Медном всаднике”: “гроба с размытого кладбища”... И, опять-таки, тутчевское “Успокоение”...

** А вот в “Слове”: Ничит трава жалощами, а древо с тугою к земли приклонилось... – и далее: Уныша цветы жалобою...

Ещё скачок, и возникает следующий временной период: **присно** (если вернуться к ещё более могучему и великому древнерусскому языку), что означает длящееся настоящее:

*О сельские виды! О дивное счастье родиться
В лугах, словно Ангел, под куполом синих небес!..*

А что открывается рубцовскому взгляду из-под купола небес? Россия – Дом Пресвятой Богородицы, Россия-Храм, Россия – Третий Рим. Это уже не взгляд Радищева: “Я оглянулся окрест...” (или, как в стихе “Однажды Гоголь вышел...” – взгляд Гоголя). Здесь, в этом временном измерении, – обращение к нам. Здесь не о 40-х или 60-х. Тут всякий раз, обращаясь к этим строкам, мы будем внимать, чего там – участвовать присно! – в молитвословии Рубцова.

Словно отзвук на слова молитвы Святому Духу: “*иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны...*” И сколько раз об этом у Рубцова: *Светлый покой простираясь окрест, воды объемлет и сушу...*

И это уже на века – Покаянный канон:

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы...

Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом...

(Антипотоп – засуха Апокалипсиса...)

...Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы...

Строка многого стоит. Это “путь без солнца, путь без веры...” Или – в Писании: “...ели, пили и веселились...” и “Внезапно Судия придет и когождо деяния обнажатся, ...ибо не знаете часа...”

Или короче, по-рубцовски: “Скот размножается, пшеница мелется...”. Словом – “без грусти пойду до могилы”, то есть без Страх Божьего. Опять-таки – эхо “Медного всадника”: “И станем жить, и так до гроба // рука с рукой дойдём мы оба...”

И снова скачок – на седьмой строке: многоточие переносит нас в новое временное измерение: “**и во веки веков**” (неограниченно длящееся будущее). Здесь в пяти строках заклинание, здесь молитва об Отчизне и воле:

Отчизна и воля — останься, моё божество!

Воля у Рубцова категория богословская, онтологическая: “вольная птица” – Ангел. Если сказать в простоте, то в чём суть христианства? Через все заповеди, молитвословия, Таинства осуществить волю Божию, то есть спастись! Тут, в грехопадшем мире, воля Божия всегда искажена, и мы молим: “Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли...”

В этих строках у Рубцова совсем не та бесшабашная воля, которая “вольному – воля, спасённому – рай”. Тут именно воля-рай, то есть “яко на небеси”. Поэтому “Отчизна и воля”, по Рубцову, – Божество. Ибо только такую Отчизну он и приемлет, которая “яко на небеси”. Божья воля, бывает, противоречит воле земной. И о том часто можно прочитать у Рубцова: “...не умчаться, глазами горя... не порвать мне мучительной связи...”

Далее – само молитвословие, ради которого (ради приснодействия которого!) и написан стих. Это уже не покаяние, а акафист России:

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!

(то есть останься, Россия-храм!),

Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!

Это о народном, фольклорном начале, но это и радость первой райской заповеди: “радости свидания” – мир, “наполненный музыкой”.

*Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..*

“Иное зерно упало при дороге, иное на места каменистые, иное в тернии, иное на добрую землю, и дало и тридцать, и шестьдесят, и сто зерен, а те – погибли...”

Тут многоточие, тут надо перевести дух...

Осталось восемь строк. Некая духовная мистерия во имя сохранения России ныне, присно и во веки веков сотворена.

Осталось выйти из инобытия в бытие. Вернее, не выйти (поста покидать нельзя!), а просто бросить взгляд на себя самого, *присно скачущего*, не нарушив ночного дыхания, снова тем самым отроком, который в “майском костюме”, и тем самым “восторженным сыном”, что рыскал “через поля на горы”... И этот скак уже не доступен глазу.

И лишь юродивый нашего века: калека-десантник, прошедший пекло войны, – “расскажет в бреде...” о чудесном видении. Снова многоточие... Конец? Нет. Можно вернуться к первой строке. Кольцо в сорок строк запаяно навечно. Перечитайте сразу, не откладывая... и с каждым витком будет вскрываться нечто новое.

“...Но жаль мне, но жаль мне порушенных белых церковей...”

Рубцов и Православие

Слово пятое

*Красным, белым и зелёным
Заливаем сладкий бред...
Взгляд блуждает по иконам:
Неужели Бога нет?*

Начинать надо с предков поэта, ибо “как ношено, так и рожено”, и “яблоко от яблони...”, и “каков поп, таков и приход”...

Родители Николая Рубцова происходили из деревни Самылково, что на берегу реки Стрелицы (приход села Спасского Тотемского уезда Вологодской области). В Спасском – два храма: престольный во имя Преображения Господня, и ещё один – во имя Рождества Богородицы. В 1870 году при храме было открыто церковно-приходское попечительство, председателем которого избрали крестьянина деревни Самылково Михаила Васильевича Рубцова – “человека честного и к церкви Божией усердного”. (Здесь и далее цитируем по книге Андрея и Марины Кошелевых “Что вспомню я?”) 12 сентября 1899 года в этой же деревне в семье Андриана Васильевича Рубцова и его жены Раисы Николаевны родился сын Михаил – будущий отец поэта. Крещён приходским священником Феодосием Малевинским. Отец Феодосий – потомственный священник, выпускник Вологодской духовной семинарии, рукоположён в 1895 году. Его стараниями при церковно-приходской школе была открыта библиотека-читальня, а из учениц школы организован женский хор... Среди певших в этом хоре была и прихожанка из деревни Загоскино Александра Михайловна Рычкова, 1901 года рождения, вышедшая в 1921 году замуж за Михаила Андриановича Рубцова. Отец Феодосий был большим любителем народного пения: записи народных песен сохранились в его книге о Спасо-Преображенской церкви: “За два дня до свадьбы бывает скрутник. Невеста ходит во всей скруте (в самом лучшем платье). Она причитает:

*Неси-ка ты, матушка,
Мою скруту добрую,
Платьецо разноцветное,
Да носи во светлую светлицу,
Во светлую горницу...”*

“Не отсюда ли – волшебная в своей красоте песня “В горнице”?” – продолжают А. и М. Кошелевы.

Отец Феодосий арестовывался трижды: в 1918-м, в 1932-м и в 1937-м году. Он принял мученическую кончину (был расстрелян) на Крещенские морозы – 19 января (!) 1938 года.

Мученицей была и Александра Михайловна. Прожив сорок один год (скончалась от сердечной болезни), она родила шестерых детей: Надежду (1922–1940), Галину (1928–2009), Альберта (1932–1984), Бориса (1937 – год смерти не известен), вторую Надежду (сентябрь 1941 – май 1942) и Николая (1936–1971).

Был ли Николай Рубцов крещён? Нам это не известно. С одной стороны, как и многие советские граждане, он мог быть крещён тайно при рождении. Но в Емецке, где он родился, в Няндоме, где жил после, поблизости не было действующих храмов. Впрочем, известны случаи тайного крещения и на дому... Но это маловероятно. Гораздо вероятнее, что Николай мог быть крещён, когда Александра Михайловна была прихожанкой храма Рождества Богородицы в Вологде в 1941–1942 годах. По воспоминаниям соседей Рубцовых Наместниковых, а также со слов сестры поэта Галины Михайловны Александра Михайловна пела в церковном хоре этого храма. Надо было иметь большую истинную веру, чтобы отстоять, отпеть службу на клиросе: на руках были дети, и она брала младших Колю и Борю с собой на службу. Шла война, муж всё время был на работе (а в 1942-м его призвали на фронт). Кроме того, у неё было больное сердце, она была беременна (в сентябре 1941-го родилась её вторая Наденька). Об этом в 2006 году я рассказывал нынешнему настоятелю храма. Батюшка записал Николая Рубцова как прихожанина своего храма на вечное поминание. У нас нет документальных свидетельств, но можно полагать, что крещение Николая Рубцова могло иметь место в 1941 году в храме Рождества Богородицы в Вологде.

Итак, в Самылково имелся действующий храм, замечательный батюшка, знаток народного пения, а позже – новомученик, принявший смерть, как и сам Рубцов, 19 января. Но... Промыслом Божиим Рубцову было предназначено было написать:

*С моста идёт дорога в гору.
А на горе, — какая грусть! —
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь...*

И ещё:

Живём вблизи пустого храма...

*Отражённый глубиной,
Как сон столетий, Божий храм...*

И – многое, многое. И потому Господь повёл его по тем местам, где храмы были порушены или закрыты: Емецк, Няндомы, Никола... Да, была благодать посещения Храма Рождества Богородицы в Вологде, но благодать эта промыслительно слилась с памятью о войне, со смертью матери, с уходом отца – сначала на фронт (и Коля долго думал, что отец погиб), а потом – в другую семью, с потерей братьев и сестёр, со смертью (видимо, на Колиных глазах) – младшей сестрёнки... Потом – детдом... В семь лет Коля пишет уже свой первый стихотворный шедевр: “Вспомню, как жили мы с мамой родною...”

Однако Господь Колю хранил: таких добрых, чутких людей посылал ему! Воспитателей детдома, а позже – учителей в техникуме (да и на литинститутских преподавателей грех жаловаться!). Документальный фильм “Зелёные цветы” сохранил образы Колиных детдомовских учителей. Были ли среди них люди верующие, воцерковлённые?... Мы не знаем. Но благодать Божья на этих лицах очевидна. Они отогрели Колю, спасли – в самом прямом, христианском понимании. Помимо киноленты, сохранились воспоминания друзей Николая по детдому, по учёбе, воспоминания его учителей (см. например, воспоминания учительницы Нины Николаевны Алексеевской). А порой Господь посылал Рубцову и верующих людей, с которыми, как рассказывала Нинель Александровна Старичкова, Николай Михайлович очень любил общаться. Большой радостью для него было, если кто-то дарил ему икону (а где их было достать тогда?) – пусть расколотую, ненужную, – это было для Рубцова лучшим подарком. (Нинель Александровна вспоминает, как, копая огород,

Николай нашел бронзовый образок. С радостным криком: “Это моё!” – выхватил он его из земли.)

Одна из таких встреч описана матерью Александра Романова – Александрой Ивановной (см. “Последняя осень”. М., 2004. С. 303):

“Только ты укатил в Вологду, а к вечеру, смотрю, какой-то паренёк запостукивал в крыльцо. Кинулась открывать. Он смутился, отступил на шаг: “Я к Саше – Рубцов я”. Ведь я его не видала, да догадалась, что это он. Стоял на крыльце такой неприютный, а в спину снег-то так и вьёт, так и вьёт. Ну, скорей в избу, пальтишко-то, смотрю, продувное. Расстроился, конечно, что не застал тебя. А я говорю ему: “Так и ты, Коля, мне, как сын. Вон надень-ко с печи катаночки да к самовару садись...” Гляну сбоку, а в глазах-то у него – скорби. И признался, что матушка его давно умерла, что он уже привык скитаться по свету...”

А он стеснительно так подвинулся по лавке в красный угол, под иконы, обогрелся чаем и стал рассказывать мне стихотворения. Про детство своё, про старушку, у которой ночевал, вот, поди-ко, как у меня, про молчаливого пастушка, про журавлей, про церкви наши Христовые, поруганные бесами... Я спугнуть-то его боюсь – так добро его, сердечного, слушать, а у самой в глазах слёзы, а поверх слёз – Богородица в сиянии венца. Это обручальная моя икона... А Коля троеперстием-то своим так и взмахивает над столом, будто крестит стихотворения...

Попуту он встал рано. Присел к печному огню да попил чаю и заторопился в Воробьёво на автобус. Уж как просила подождать горячих пирогов, а он приобнял меня, поблагодарил и пошёл в сумерки.

Глянула в окошко – а он уже в белом поле покачивается. Божий человек...”

Многочисленны воспоминания, где упоминается о том, что Николай Михайлович совершал крестное знамение, проходя мимо церкви, поздравлял друзей с церковными праздниками (особенно он любил Пасху), присылал поздравления с Пасхой по почте... Слово “Пасха” у Рубцова в тексте написано с большой буквы.

Существует мнение, что Рубцов был мало образован. В институте отучился кое-как, мол, однако знание знанию рознь.

Приведём здесь одно из высказываний близкого друга Рубцова – Сергея Багрова:

“Философствовать Николай любил. Гегель, Кант, Аристотель, Платон... Трудно поверить, что Николаю, при всей его внешней беспечности, почти безалаберной жизни... удавалось познать их работы...” (“Россия. Родина. Рубцов”. Вологда. 2005. С. 84).

Просто не с каждым встречным писателем любил пофилософствовать Николай Михайлович, не с каждым это было и возможно.

О более раннем периоде (Кировский техникум) практически то же самое, что и С. Багров, рассказывал нам друг Рубцова Николай Никифорович Шанторенков: “Любимыми его книгами были книги по философии и Библия”. О литинститутском периоде мы читаем в воспоминаниях Михаила Шаповалова: “Два раза только видел я Рубцова с книгой в руках. Поэтому и помню: книгами этими были Библия и Пушкин...” (“Последняя осень”. С. 194).

Да... Рубцов прогуливал лекции, у него были сложности с преподавателями общих дисциплин (но не по поэзии!), да и чему он мог научиться у московских профессоров! Вернее было бы им учиться у него...

Из письма Николаю Сидоренко. Село Никольское:

“Вообще, зачем это сидят там, в институте, некоторые “главные” люди, которые совершенно не любят поэзию, а значит, не понимают и не любят поэтов. С ними даже как-то странно говорить о стихах! Они всё время говорили со мной только о том, почему меня вывели откуда-то, почему, почему... как будто это главное... Они ничего не понимают, а я всё объяснял, объяснял...”

И ещё: “Только я вот в чём убеждён: поэзия не от нас зависит, а мы зависим от неё. Не будь у человека старинных настроений, не будет у него в стихах и старинных слов, вернее, поэтических форм. Главное, чтоб за любыми формами стояло подлинное <...>, которое, собственно, и создаёт, независимо от нас, форму...”

“Во всём остальном... я не имею никаких убеждений... Записать любыми стихотворными словами могу что угодно. Но найдёт ли на меня, осенит ли меня... – это не от меня зависит...”

Совершенно иному Рубцов учился у простых верующих людей (это была его истинная школа), таких как мама Александра Романова Александра Ивановна или “добрый Филя”, ставший персонажем его стиха... Кстати, удивительное по своей философской насыщенности стихотворение “Русский огонёк”, так похожее на посещение дома А. Романова, было написано ещё до этого. Словом, как сказано в другом стихе: “ищу предмет для поклонения // в науке старцев и старух...” Вот эти-то самые старцы и старухи, “в простой одежде, с душой светлою, как луч”, и были истинными учителями Рубцова, с ними он раскрывался, с ними он был самим собой...

Притчей во языцех стала история с каким-то партийным секретарём. Вот она в версии Виктора Астафьева: “Забрёл как-то Коля пьяненький в горком... Среди колонн стоит... и малость дремлет ещё... Так вот, партиец на него... “Ты кто такой? Вы почему здесь пьяный стоите?” Коля открыл глаза и говорит: “Пошёл ты...”... Долго потом разбирались, потащили его к какой-то шишке, заведующему отделом агитации, тот начал права качать, а Коля: “Чего вы ко мне лезете? Я к нему не лез. Стою и думаю, как примирить две идеологии: учение Христа и Ленина, а он лезет...” Те за голову схватились: “Две идеологии!” С Колей разбираться – это, Господи, помилуй!” (“Последняя осень”, с. 383).

Виктор Петрович несколько, по обычаю своему, огрубляет, но... история эта повторяется. По другой версии фразу о Христе и Ленине Рубцов выдал онемевшему соседу по квартире – тоже партийному работнику... Видимо, история повторялась не однажды и не дважды... Итогом было то, что партийное руководство, ценившее талант Рубцова, помогло ему получить отдельную квартиру.

Перу В. П. Астафьева принадлежит воспоминание о том, как причащался Рубцов:

“Мы втроём сорвались на самолёт и улетели в Усть-Кубену – Витька Коротаяев, он и я... [далее описывается малоудачная рыбалка. – А. Г.]... а вдали там работающий собор был, так, на высотке стоит. Коля говорит: “Ну, ладно, вы рыбаёте, я пошёл...” И вот он ушёл, долго его нет... А нам улетать вечером... Смотрим – идёт. Ме-едленно так идёт... Благостное лицо, сияющие глазки такие, излучают какой-то свет... “Ребята! Как я погулял-то хорошо, в храме был, книжки старинные смотрел, с попом разговаривал, а на обратном пути началось во мне стихотворение...” (там же, с. 386). Ряд исследователей поставил под сомнение факт причастия Рубцова (в другом издании об этом прямо пишет Астафьев): как мог причащаться Рубцов, да и крещён ли он был, да и опоздал к исповеди, да и не постился накануне... Замечания справедливые, но вспомним те времена... Да заодно и апостольские правила вспомним: причастие и исповедь – два независимых Таинства. В современной практике к чаше допускают только прошедших исповедь. В шестидесятые, когда в храмах многолюдства не отмечалось, священник мог пригласить к причастию всех желающих – в этом нарушения канона нет. С автором этих строк был похожий случай, когда в советское время сам, будучи невоцерковлённым, зашёл с товарищем в храм к концу службы (маленький провинциальный храм в г. Вельске). Батюшка пригласил нас к чаше: я как некрещёный ещё в ту пору – отказался, а друг с удовольствием принял причастие (он был крещён в детстве). Даже и в наши времена, если вы подойдёте к священнику и попросите принять исповедь, предупредив, что не готовились, не постились, но очень надо исповедаться, то вам не откажут. История, изложенная Виктором Петровичем, весьма правдоподобна.

Из воспоминаний в воспоминание кочуют, обрастают подробностями указания на пьянство Николая Рубцова. Да... случалось. Но не будем осуждать его – и нынешняя православная пишущая братия (а тогда-то!) отмечает порой... (ведь эта работа такая не простая – писать стихи, – что редко кто удерживается в абсолютной трезвости!). Нет, Рубцов не был алкоголиком, грубияном, невоспитанным хамом (как пишут иные, а в особенности убийца поэта). Истинный облик поэта виден в воспоминаниях его близких друзей: С. Багрова, Н. Старичковой, А. Романова и многих других, а те, иные... Не зрят пока в глазу своёю бревна... Каким-то недобрый мистицизмом окутана (в их подаче) гибель поэта. Во многих изданиях повторена ложь убийцы о том, что во время убийства (которого, с её слов, вроде и не было!) Рубцов спровоцировал драку, уронил стол, с которого упала-де икона Николая Чудо-

творца и раскололась. Во-первых, воспоминаниям Л. Дербиной-Грановской, многократно уличённой во лжи, нельзя доверять — это и неэтично, да и с научной точки зрения недопустимо для исследователя творчества поэта. Во-вторых, иконы Николая Чудотворца у Рубцова не было. Имелась икона деисусного чина (в середине — Христос, а по сторонам — Богородица и Иоанн Предтеча, внизу — Георгий Победоносец и Святой Никита). Даже человек, далёкий от церковной жизни, заметит разницу. Икона, действительно, расколота — я сам держал её в руках, — но расколота давно, лет сто-двести назад. Как рассказывала Нинель Александровна Старичкова (на квартире которой, в частном музее Н. М. Рубцова — г. Вологда ул. Зосимовская, 2, кв. 6 — вплоть до её кончины в 2008 году, хранилась эта икона), икону эту, расколотую и не годную к богослужению, Рубцов выпросил у какой-то бабушки. После гибели Рубцова Нинель Александровна забрала икону с собой*.

Что же касается измышлений Л. Дербиной... Они давно опровергнуты следствием. Ознакомившись с материалами уголовного дела, опубликованными М. В. Суrowым, мы убедимся, как удивительно менялось изложение событий со слов убийцы: от “я убила” до “мы были одарённой мистической парой, а он умер от пьянства или сердечного приступа”. И не унимается... По сей день в печати и в интернете появляются её всё более невероятные версии. Однако все они были следствием отклонены, кассационные жалобы в Верховный суд рассмотрены и также отклонены. Осуждённая на восемь лет, отбыв пять, была она досрочно освобождена (видимо, по хлопотам Е. Евтушенко и других “заступников”, которые доселе не оставляют убийцу своим вниманием). Из всех документов мы процитируем только один, дабы показать истинное лицо убийцы, называющей себя “вдовой”, “женой” великого поэта (у Н. М. Рубцова была только одна жена — Генриетта (в крещении Ксения) Михайловна Меньшикова). На странице 605 в суrowском издании помещена докладная записка в органы КГБ от зам. начальника оперчасти со слов агента: “Мною... 20 июня 1974 г... получены новые сведения о поведении ос. Грановской.

Источник, будучи с Грановской на прогулке, имела с ней беседу. В процессе таковой источник спросил: “Люда, ты мужа своего сама убила? Зачем? Не жалко теперь его тебе?” На это Грановская высказала недовольство и ответила: “Я бы его и ещё раз убила. Всю жизнь мне сломал. Пьяница, никчёмный человек. Видите ли, поэт... учил меня. А мои стихи не хуже, а намного лучше. Но ничего, в Ленинграде есть люди, и за меня вступятся, и за границу тоже знают. Вспоминают ещё Людку Дербину”.

Вот это маниакальное “мои стихи лучше”, “вспомнят ещё...” и движет до сих пор нераскаявшейся убийцей. Стихи же Дербиной, как замечал ей сам Рубцов, — патологичны, и — добавим мы от себя — не отмечены печатью таланта.

И ещё одна цитата из уголовного дела (Суrow, с. 549): “Объяснение Грановской Л. А. о том, что Рубцов Н. М. в этот вечер собирался убить её, опровергнуто материалами дела. Утверждение Грановской Л. А., что Задумкин, Лапин, Третьяков предлагали ей спрятать нож, опровергнуто этими свидетелями.

Утверждение Грановской Л. А. о том, что потерпевший бросал в неё горящие спички, опровергнуто актом осмотра... Утверждение Грановской Л. А. о том, что потерпевший в течение 5 часов искал предметы для того, чтобы совершить убийство, неправдоподобно...”

Мы бы и не стали поминать всё это, но пора уж давно очистить имя поэта от клеветы, продолжающей оставаться в многочисленных изданиях, звучащей с телеэкрана.

Убийство было. Было попущено...

Что ещё было... Уместно вспомнить — те немногие! — действующие храмы, что отмечают путь Николая Рубцова: во-первых, храм Рождества Богородицы в Самылково, где Николай должен был бы родиться, где прихожанами были его предки, где пела мама. Затем — Рождества Богородицы в Вологде, где он бывал на службах, где — возможно — был крещён (а значит, и принимал Таинства). Потом ещё два Богородичных храма: Ферапонтово, столь любимое поэтом, воспетое им в удивительных стихах:

* В настоящее время икона хранится в квартире дочери поэта — Елены Николаевны Рубцовой, в Санкт-Петербурге.

*В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то Божье в земной красоте...*

И храм Рождества Богородицы в Питере, на Васильевском острове (угол Малого проспекта и Пятой линии), где под ветвями берёз, на фоне старинного белокаменного храма (что для питерской архитектуры – редкость) Николай Рубцов любил сидеть с друзьями, читать стихи (по воспоминаниям Лидии Дмитриевны Гладкой). Все храмы Богородичные. Случаен ли этот далеко не полный перечень? Не о Рубцове ли эти древние слова Богородичной молитвы:

“Царица моя преблагая, надеждо моя, Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь: помози ми яко немощну, окорми мя яко странна: обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши, во веки веков, аминь”.

Ведь сколько раз Рубцов был на краю гибели – не помощь ли Заступницы Небесной, не молитва ли матери спасала его! Как бы ни коротко прожил он свою жизнь, а главное – должное сумел написать.

Не стало постоянного и хорошего автора нашего журнала. 12 декабря 2014 года из Воронежа пришло скорбное известие о кончине Ивана Евсеенко.

Родившийся на Украине в 1943 году Иван Иванович работал в родном селе Займище Черниговской области учителем, затем — в Калининградской области корреспондентом газеты. В 1973 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького (семинар С. П. Залыгина). Долгое время возглавлял воронежский журнал “Подъём”.

В литературном мире Евсеенко являлся заметной фигурой — печатался в журналах “Новый мир”, “Москва”, “Смена”, “Дон”, “Роман-газета”. В “Нашем современнике” ярко сверкнули его повести “Однодворец Калашников”, “Смертный час”, “Пока печалются колокола” и в особенности “Сарабанда”. Творчество Ивана Ивановича отмечено множественным престижных премий — имени И. А. Бунина, И. С. Шмелёва, В. М. Шукшина, И. С. Тургенева и других.

В редакции “Нашего современника” всем сердцем скорбят о кончине Ивана Ивановича Евсеенко и выражают соболезнование родственникам усопшего писателя.